

ИСТОРИЯ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

ПИСЬМО (В) ФИЛОСОФИИ Ж. ДЕРРИДА*

Д.Э. Гаспарян

Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Старая Басманная ул., 21/4с1, Москва, Россия, 105066

Статья посвящена исследованию природы письма в философии ведущего мыслителя XX-го столетия Ж. Деррида. Ставится задача демонстрации ключевых отличий между подходом Ж. Деррида и лингвистикой Ф. де Соссюра.

Ключевые слова: лингвистика, структурная лингвистика, письмо, речь, знак, архэ-письмо, грамматология, фонема, графема, Ж. Деррида, Ф. де Соссюр.

Тема Письма является для философии не совсем традиционной. Скорее этим понятием занимается лингвистика и другие дисциплины, изучающие язык и речь. Однако благодаря усилиям некоторых философов и в первую очередь, Ж. Деррида, с некоторых пор тема письма стала достоянием философской рефлексии. При этом она не разорвала кровнородственных уз с лингвистикой, для которой в свое время так много сделал Ф. де Соссюр, применив к ней новаторский структурный метод. В настоящем исследовании я попытаюсь обнаружить известного рода преемственность между лингвистическим, т.е. собственно соссюровским, и постлингвистическим, дерридарианским, подходом к Письму.

Начнем же мы с принятых в классической лингвистике определений. Самое общее из них могло бы звучать так: письмо — это процедура знаковой дифференциации, закрепляющей свои результаты в виде графических единиц, которые связаны определенными отношениями и могут быть изображены различными средствами и на различных носителях. В классической лингвистике под Письмом понимают семиотическую систему, единицы которой суть графические объекты, призванные обозначать и фиксировать на неких материальных носителях единицы устной речи (естественного языка). При этом принято различать *идеографическое* (иероглифическое) и *фонетическое* Письмо. Под идеографическим Письмом по-

* В данной научной статье использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ «Следование правилу: рассуждение, разум, рациональность», 2014 г.

нимают такой вид Письма, в котором одному простейшему графическому объекту (иероглифу или знаку, напр. «№», «%») соответствует сложный акустический (слово или словосочетание) или смысловой (значение слова или словосочетания) объект. Под фонетическим Письмом понимают такой вид Письма, в котором графические объекты никогда не обозначают целостный акустический объект (слово), но только его части (слоги в случае «силлабического» Письма, только согласные в случае «консонантного» и равно согласные и гласные в случае «алфавитного» или, по другому, «вокалического» Письма). Таким образом, под алфавитным (вокалическим) Письмом понимают такой вид фонетического Письма, в котором каждому простейшему графическому элементу (гласная или согласная буква) соответствует один простейший акустический элемент (гласный или согласный звук). Известно, что первым примером алфавитного Письма является греческое, легшее в основу всех европейских систем письменности. Именно с его развитием открывается эпоха западно-европейской цивилизации, и в том числе начало западно-европейского типа рациональности.

Из самого описания алфавитного Письма следует, что в рамках лингвистики Письмо понимается с точки зрения его вторичности, производности по отношению к устной речи, поскольку внеписьменное оформление мира предшествует его графической записи. Помимо синхронической аргументации, принятой в среде лингвистов, для подтверждения этого положения прибегают и к диахроническому доказательству — указанию на то, что исторически письменность у народов появляется существенно позже сформировавшегося устного языка. Точно так же при освоении родного языка каждым конкретным носителем овладение устной речью предшествует овладению письменным. Подобное понимание связано не только с развитием сравнительно молодой науки лингвистики, но имеет длительную историко-философскую ретроспективу, которую лингвисты, в том числе *Фердинанд де Соссюр*, в значительной степени заимствуют.

В пределах философской рефлексии вплоть до сер. XIX-го в. Письму было принято отводить второстепенную роль. Уже в период античной философии, в первую очередь Платоном, подчеркивался приоритет речи перед Письмом, в силу смысловой замкнутости Письма, его неспособности дать пояснительный комментарий к самому себе: «В этом дурная особенность письменности... ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде... Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни помочь себе» (1). Также у Аристотеля, поскольку мышление — есть беседа разума с самим собой (2), само размышление есть опыт речи и равно условие самоидентичности субъекта (совпадение говорящего и слушающего). Следовательно, мысль напрямую отливает свои идеи в слова, минуя посредничество записи, и даже молчаливая мысль удостоверяет приоритет голоса.

Впервые в наиболее концептуальном виде идею автономии речи и Письма, при условии первичности и независимости звучащего слова перед написанным, сформулировал Фердинанд де Соссюр: «Язык и письмо суть различные системы знаков: единственный смысл второй из них — служить для изображения первой» (3). У Соссюра графический знак репрезентирует знак устный, являясь таким образом «знаком знака». Всякий язык в этом случае понимается как устный язык, сущность которого остается независимой от системы Письма, принятой в его пределах. Соответственно, «предметом лингвистики является не слово звучащее и слово графическое в их совокупности, а исключительно звучащее слово» (4).

Ключевым аргументом в этом истолковании выступает не только отсылка к фактической стороне дела — возникновению и функционированию языков, но и знаменитая двухкомпонентная теория знака Соссюра, согласно которой всякий знак существует как единство акустического образа (означающего) и понятия (означаемого), и в этом смысле всякий знак изначально дан как устный (звучащий). При таком понимании знак (слово) является результатом некоей изначальной связи между мыслью и звуком (голосом) (именно этой связке *Жак Деррида* даст в последующем имя «логофоноцентризма», имея в виду доминирующую роль устного/фонетического слова/логоса перед записью).

Письмо, в свою очередь, всегда следует вторым шагом и выступает не чем иным как простым графическим обозначением наличествующей между словом и понятием неразрывной связи. Например, знание того, как записать слово «стол» будет иметь смысл только после того, как это слово будет устойчиво отсылать к понятию «стол» в сознании конкретного носителя языка. Однако понимание, т.е. способность установить эту связь, совершенно не зависит от знания того, как пишется слово «стол». Таким образом, сущность Письма ограничивается следующим набором функций:

- 1) оно репрезентативно по отношению к слову и
- 2) долговременно в отличие от мгновенного потребления устной речи.

Звучащая речь (голос), соответственно, выступает внутренним отношением знака и значения, в то время как Письма — внешним.

Непосредственно философская проблематизация Письма связана с именем Ж. Деррида, а именно его программой *деконструкции*, в том числе и деконструкции принятой в лингвистике модели. Главный механизм и технология этой программы заключается в основном в обнаружении тех противоречий, которые не только сохраняются в соссюровской модели толкования Письма, но и служат условием ее возможности. При этом, по мнению Деррида, при определенной технике прочтения открывается, что уже в самой лингвистике заложены основания для будущего проекта *грамматологии* — дисциплины, которая должна положить начало адекватному изучению Письма. Прежде чем перейти к скрытым в соссюровской концепции Письма противоречиям, Деррида обнаруживает ряд фундаментальных предпосылок, на которых основана возможность лингвистического истолкования сущности Письма.

Первая и основная предпосылка состоит в принципиальной фонологичности того Письма, которое укладывается в теорию Соссюра, в то время как идеографи-

ческое Письмо в эту теорию уже не вписывается. Это исключение не было бы проблематическим, если бы Соссюр не настаивал на универсальности своей теории, иными словами, ее релевантности для всех типов Письма. Однако в этом случае идеографическое Письмо следует признать ненастоящим. В основание, по которому Соссюр объединяет два этих вида Письма, кладется, как отмечает Деррида, как раз один из ключевых отличительных признаков фонетического знака, а именно его произвольность. «...Соссюр же — это прежде всего тот, кто возвел произвольность знака и его дифференциальный характер в принцип общей семиологии и особенно лингвистики» (5).

В рамках фонетического Письма звук, как известно, всегда является произвольно (случайно) установленным: слово или звукосочетание «стол» не имеет ни звукоподражательной, ни символической (образной) связи с понятием «стол». Однако в случае иероглифического Письма это правило срывает уже не всегда, в то время как в отношении пиктографического или символического Письма оно не работает совсем.

Таким образом, семиотическая система Соссюра исключает знаковый символизм, весьма существенный во многих культурах, и концепция Письма, сформулированная в рамках лингвистики, имеет серьезные ограничения. Рассмотрим эту трудность подробнее.

Итак, согласно традиционному положению структурной лингвистики всякий знак произволен — чашку мы можем назвать тарелкой, а тарелку чашкой — от этого ничего не изменится. Нам придется только привыкнуть к новым словам, после чего мы будем так же уверенно пользоваться новыми обозначениями, как до этой маленькой инверсии. Символ же не совсем произволен. К примеру, образ льва является символом величия, а лисы — хитрости, и если мы пожелаем распределить эти символические роли по-другому: сделать символом величия мышку, а символом хитрости — собаку, то вряд ли сильно преуспеем в этом.

Практически во всех символах символизирующий нечто объект заключает в самом себе *смысл* или определенный *образный элемент*, в связи с репрезентацией которого он и используется в качестве символа. В «Курсе общей лингвистики» сам Соссюр пишет, что произвольность символа весьма относительна, поскольку символ «не пуст, но имеет рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости — весы — нельзя заменить любым символом, например телегой» (6). Все дело в том, что символ служит также неким воплощением того, что он символизирует. В каком случае эта особенность может оказаться важной?

Очевидно, что наиболее важным различие между знаком и символом, или, если угодно, знаковым или символьным способами репрезентации вещи окажется в случае обращения к сакральным объектам. Например, очень важно понимать, что церковный храм, статуя божества или икона и сами по себе священны, а не просто изображают (означают) что-то божественное. Верующему человеку очевидно, что иконе, сфотографированной на сотовый телефон, нельзя молиться (по крайней мере, также полноценно, как иконе, находящейся в церкви). Зачастую паломники совершают длительные путешествия только для того, чтобы лично ли-

цезреть священный объект, и не ограничиваются его изображением в альбоме репродукций или Интернете. В этих случаях речь идет о совершенно особом способе репрезентации — не знаковом, а символическом — таком, который удерживает что-то от внешнего объекта в самом себе (например, частичку божественного, что и делает объект священным).

Но эта замечательная особенность символизации работает не только для представления сакральных предметов, но и в более прозаических случаях. Так, когда мы приобщаемся к искусству или просто что-то понимаем, то на наиболее глубинном уровне подключения к идее работает именно символ, а не знак.

К примеру, скажем ли мы, что картина да Винчи «Мона Лиза» что-то *означает*? Если придерживаться риторики означения, то, возможно, мы и найдем, что ответить, например, скажем, что она означает загадку мироздания или тайну человеческой красоты. Но, скорее, мы посчитаем, что эти смыслы *символизируются* картиной, а не *означаются* ей. Чтобы это рассуждение не выглядело обычным спором о терминах, надо очень четко понимать следующее. Во всех случаях, когда то, с помощью чего репрезентируется объект (улыбка Моны Лизы в нашем случае), кажется нам не случайной, но неотъемлемой частью того, что представляется, мы будем считать изображение символическим. Скажем, если бы Мона Лиза подмигивала нам с картины, то мы уже не смогли бы согласиться с тем, что она символизирует таинство бытия (и дело тут не в том, что мы договорились об условных знаках: улыбка означает одно, а подмигивание — другое). Если же мы с легкостью готовы вообразить, что отныне слово «налево» будет означать направо, а слово «направо», напротив, — налево, то речь идет о знаках.

Следующая предпосылка, одновременно выступающая некоей трудностью, к которой обращается также сам Соссюр, состоит в том, что, несмотря на декларируемую вторичность Письма по отношению к системе языка, Письмо в состоянии воздействовать на язык изнутри, трансформируя его и модифицируя, благодаря изменчивости правил и норм письменности. Но тогда Письмо имеет обратное воздействие на язык, что не вполне соответствует принципу «вторичности» Письма. Деррида скажет об этом следующее: «...А ведь единственно запись, как это ни парадоксально, обладает — хотя и далеко не всегда — могуществом поэзии, то есть могуществом выводить речь из ее знаковой спячки. Фиксируя речь, она, по сути, намерена — и идет на этот смертельный риск — освободить смысл, и это касается любого актуального поля восприятия, от той естественной вовлеченности, при которой все соотносится с аффектом случайной ситуации. Вот почему письмо никогда не будет просто „живописью голоса“ (Вольтер). Оно творит смысл, его фиксируя...» (7).

Кроме того, почти ни в одном языке не выполняется декларируемый идеал фонетического Письма — «пишется как слышится». Признавая эту «непокорность» Письма и сам Соссюр, вслед за классической традицией истолкования письменности как вторичной и производной системы, обращает внимание на «опасность» диктата Письма, заслоняющего первородство устной речи. В конечном итоге, говорит он, правила письменного синтаксиса и орфографии, не удерживают своей локализации в пределах одной лишь письменной лексики,

проникают в устную речь и размывают непосредственное родство мысли и звука, равно как нарушают первенство голоса. В особенности сложные и богатые системы языка имеют опасную склонность ставить литературное Письмо на первое место, рассматривая устную речь как несовершенное или попросту сокращенное подобие письменной речи. У Деррида читаем: «...Нужно, чтобы она (речь — *авт.*), не исчезая, знала свое место, а для этого видоизменилась в самой своей функции: чтобы отныне она не была более языком слов, терминов «в смысле определения» («Театр и его двойник», IV, р. 142 и далее), итожащих мысль и жизнь понятий. Именно в безмолвии слов-определений «мы могли бы лучше вслушаться в жизнь» (*ibid.*) Тем самым пробудится звукоподражание, жест, который спит во всякой классической речи: звучность, интонация, насыщенность. И синтаксис, управляющий сцеплением слов-жестов, уже не будет более грамматикой поучения, логикой «ясного ума» или познающего сознания (8). Эти «поползновения» Письма служат поводом для непрестанной бдительности лингвистики перед заповедью не допустить «забвения» устного слова, сохранив в вечной памяти одну из фундаментальных интуиций европейской культуры — «вначале было Слово».

Этот проект довольно быстро наталкивается на вполне определенные трудности, о которых говорит сам Соссюр и на что специально обращает внимание Деррида: «Надо как можно скорее заменить искусственное естественным, но это невозможно, потому что звуки языка изучены плохо; освобожденные от графических изображений звуки представляются нам чем-то весьма неопределенным: возникает соблазн предпочесть — пусть обманчивую — опору графики» (9). Последнее замечание заставляет Соссюра выразить опасение в том, что буква может заслонить первенство звука, представив дело так, что звуки лишь *озвучивают* буквы. В конечном итоге, если *означающее означающего* (Письмо) может влиять на *означаемое* (речь), тогда, вполне вероятно, что первично и автономно не *означаемое*, а *означающее*, что абсолютно неприемлемо для подавляющего числа лингвистов.

Таковы общие положения лингвистической теории Письма, которые вкупе с классической традицией философии достаточно враждебно настроены к Письму, чтобы возбудить вначале недоумение, а потом и подозрение. Два этих мотива предваряют исследовательскую тактику Ж. Деррида («De la Grammatologie» / «Не-что, относящееся к грамматологии», «Письмо и различие»).

Первое противоречие классической (соссюрской) лингвистической модели Письма, на которое указывает Деррида, вытекает уже из одних дефиниций. Поскольку по определению всякий знак образован произвольной, никак естественно не мотивированной связью между означающим и означаемым, то определение письменного знака как образа, подобия акустического знака подпадает под элементарное противоречие. Если знак принципиально не может быть образом, то неясно, почему Письмо интерпретируется как система знаков, находящаяся в отношении подобия с устной речью. Таким образом, если соссюрское определение Письма как естественного символа знака верно, то его невозможно согласовать с другим соссюрским определением Письма как «знака знака», поскольку Письмо вообще перестает быть знаковой системой, а графический объект пере-

стает быть знаком. Если же определение знака как произвольного верно, то следует признать радикальный разрыв между системами Письма и устной речи и отказаться от истолкования Письма как образа речи. В итоге обнаруживается первая трудность соссюрдовской лингвистики: противоречие между двумя ее базовыми тезисами о

- 1) произвольности знака и
- 2) вторичности Письма,

поскольку, как справедливо отмечает Деррида, произвольные знаки, по определению, не могут быть вторичными.

Вторая трудность касается самой природы фонетического Письма, которое при внимательном рассмотрении предстает неким утопическим, но никогда не реализуемым идеалом. Определение фонетического Письма как точной копии, отображения устной речи, остается декларативным и невыполнимым, поскольку на практике Письмо демонстрирует автономию орфографических, пунктуационных и стилистических правил. Даже в простейшем режиме записи за говорящим Письмо уклоняется от оригинала, следуя орфографическим требованиям (например, в орфографии отсутствует графема, отображающая смысловые ударения речи, а в речи отсутствует фонема, соответствующая области пробела в тексте). В конечном итоге проговариваемое про себя или вслух не выливается на бумагу в фотографическом исполнении, но скорее находится с записью в неких проблематических отношениях, когда одно выражается через другое (Письмо через речь и речь через Письмо). Наконец, Письмо зачастую попросту избыточно по отношению к речи.

Исходя из этих замечаний, можно не согласиться, по меньшей мере, с двумя положениями соссюрдовской лингвистики:

- 1) о сугубо внешней роли Письма и
- 2) о его символической/образной репрезентативности по отношению к языку.

Следовательно, Письмо следует мыслить если и несопадающим с речью, то, все же как внутреннее речи, как то, что с самого начала присуще языку.

Чтобы прояснить, как это возможно, Деррида обращается к способам, которыми задается Письмо и речь в лингвистике, из чего следует, что эти способы идентичны. В речи главным отношением между звуками является их различие, которое, по сути, и создает их как отдельные звуки. На означаемом уровне распознавание звуков происходит в том случае, если они позволяют различать конкретные словарные единицы (напр. звук «о» позволяет отличить слово «стол» от слова «стул»).

Любопытно, что носители разных языков не улавливают на слух те звуки, которые не играют никакой роли в словообразовании их родных языков.

Более часто встречающимся фактом являются примеры из обиходной речевой практики, когда самое разное вокалическое или интонационное исполнение звука не является помехой для его распознавания на слух. Один и тот же звук может произноситься по-разному; возможность его распознавания связана с единственным требованием — звуки не должны быть перепутаны. Однако те же самые пра-

вила функционирования справедливы и в отношении Письма. Значимость букв также лишена позитивного содержания, она сугубо отрицательна, т.е. устанавливается в зависимости от расположения в дифференциальной системе письменных знаков. Особенности индивидуальных почерков не искажают сути Письма. Искажение наступает только в случае, если одна буква написана (использована) вместо другой — в этом случае искажение опознается как орфографическая или иная ошибка. Помимо этих совпадений существует еще по меньшей мере один общий для Письма и речи признак: знаки Письма, так же как и устные знаки, совершенно произвольны, так как нет никакой причинной связи между буквой и звуком, ею изображаемым. Таким образом, в Письме так же как и в речи нет ничего кроме различий. Тогда если у Письма и речи — одна сущность, то речь всегда уже содержит в себе Письмо, и ее можно представить следствием или разновидностью Письма. Чтобы уяснить эту почти невысказанную идею, следует принять во внимание ряд уточнений.

В конечном итоге Деррида указывает на главное противоречие классической лингвистики, не позволяющей Соссюру сохранить последовательность в вопросе приоритета и предшествования устного звука (языка) графическому знаку (Письмо). Оно состоит, как ни странно, в центральном постулате лингвистики — об исключительно дифференцированном характере системы языка. Ведь дифференциальность сама по себе лишена материально-чувственного содержания — значение устанавливается не по сопричастности к чувственно данному миру материальных предметов, а по сопричастности к системе знаков. Но при таком условии невозможным оказывается принцип изначального родства между звуком и понятием (словом и предметом). И тогда два фундаментальных положения классической лингвистики остаются несогласованными.

Из этого пробела Деррида предлагает сделать вывод об иллюзорности естественно-фонетической связи между словом и значением и неверности толкования Письма как «знака знака». Поскольку то единственное, что позволяет существовать и речи и Письму — внутрисистемные различия — не является ни предметным, ни чувственно воспринимаемым, то оно является *доакустическим* и *дографическим* условием возможности появления любых знаковых систем. Именно оно представляет собой проблемное поле и в первом приближении может быть определено как движение различения или процесс движения самого знака.

Это движение различения, т.е. означение как таковое, Деррида готов объявить самим Письмом, но в силу искажения смысла Письма, произошедшего внутри классической традиции, прибегает к иному концепту — «*архэ-Письма*» («*arche-écriture*») (*прото* — Письмо).

Снятие оппозиции «Письмо — речь» в пользу Письма связано исключительно с подавлением той исходной природы языка, которая была репрессирована в Письме, под видом своего «инога». Если бы этого вытеснения не случилось, мы могли бы беспрепятственно пользоваться и термином «речь». «Архэ-Письмо» должно подвергнуть *деконструкции* классическое понятие Письма, т.е. освободить его от узко классического смысла, не позволяющего его не только ввести в область

языка, но и толковать как то, что шире самого языка. «...Смысл должен дожидаться, пока его выскажут или запишут, чтобы в себе поселиться и стать тем, чем в отличие от себя он является: смыслом...» (10).

Кроме того, принципиальным отличием архэ-Письма от классического Письма является принцип изначальности начертания, а не произнесения знака. Иными словами, изначальность начертательности разворачивается в области письменного, а не устного означения. Обычное представление о языке, заложенное структурной лингвистикой, исходит из того, что устное означение всегда предшествует письменному, главным аргументом в пользу чего является то, что человек вначале научается говорить, и только потом писать. Соответственно, роль письма сводится к тому, чтобы просто перевести в запись то, что вначале существует как устное слово. Но логика архэ-Письма стремится опровергнуть это положение, указав на то, что нигде в мире не существует чисто фонетического письма, строящегося по принципу «как слышим, так и пишем». Существует некая избыточность письма и главное — его собственные, относительно независимые от устной речи законы. Это важно потому, что требуется показать — различие фонем (устных звуков), или иными словами, различия, организующие пространство речи не являются изначальным различием.

«Архэ-Письмо» содержит в себе два фундаментальных свойства процесса означения. Оно, во-первых, не связано с метафизикой присутствия — наивной верой в самоданность, самопредъявление означаемого в момент, когда оно означает, а, во-вторых, оно в той мере начертательно, в какой сами различия могут быть увидены, но не услышаны (например, в словах «освящать» и «освещать» смыслообразующий звук, будучи неразличимым на слух, различается на Письме).

Если второй аспект напрямую связан с отказом от идей логофоцентризма, то первый апеллирует к отказу от поиска значений вне системы языка — трансцендентных означаемых. В классической философской и лингвистической традициях считалось, что несмотря на внутриреференциальный характер языка всякая процедура означения имеет логический предел — в виде самой реальности, представляющей окончательные смыслы или вещи, к которым нас рано или поздно приведет язык. Наличие этих окончательных пунктов прибытия необходимо, поскольку только реальный мир вещей обеспечивает содержание языка.

Поскольку эта идея входит в противоречие с другой идеей Соссюра о замкнутости системы языка, продуцирующей значения только изнутри самой себя (благодаря операциям сорасчленения и соразличения), то Соссюр решает эту проблему следующим образом. Само значение, т.е. предмет, к которому отсылает знак, может быть найден вне языка, оно может быть внешним (трансцендентным). Напротив, само означение всегда имманентно языку, оно есть следствие его функционирования. Подобное решение представляется Деррида недостаточно радикальным, поскольку последовательное развитие идеи означения должно привести к полному разрыву с реальным миром вещей.

Кроме того, этот разрыв уже осуществлен в Письме. Поскольку согласно европейской традиции звучащая речь всегда удерживает непосредственную связь

с означаемыми, в отличие от графического письма, которое всего лишь обозначает речь, то именно Письмо обнаруживает истинное положение дел — в конечном счете существует одно только *означение*, или «*означающее без означаемого*». Трансцендентное означаемое оказывается фикцией, поскольку идентификация объекта возможна только внутри структуры различий, т.е. в границах, обусловленных самой системой. Означаемое остается таким конституэнтном языка, к которому язык всегда ведет (как к своему внешнему), но никогда не приводит. Письмо не означает речь, оно просто означает и тем хранит и заставляет работать сокровенную тайну языка — неограниченную и самодостаточную возможность означения. В бесконечной сети взаимных отсылок-репрезентаций знак отсылает не к значению, но к другому знаку. Но в этом случае внутри референции не наличность внешнего обеспечивает смысл; референция не есть даже обещание смысла, но скорее само бытие смысла. Письмо производит смысл в качестве своего следствия. Письмо также делает явным неизбежность отчуждения — после того как что-то написано, оно, отделившись от автора, живет своей жизнью. Напротив, звучащая речь создает и сохраняет иллюзию соответствия сказанного тому, что желали сказать, веру во внутреннюю интимную связь мысли и речи. Письмо выдает это несоответствие, отчуждение написанного и присвоение всегда другого в процессе самого Письма.

Однако эта самопроизвольность Письма есть условие его производительности. В той мере, в какой Письмо должно быть понято как прото-Письмо, речь идет о том, что оно не есть просто запись, но всякая фиксация различий, «все то, что делает возможной запись как таковую». В качестве возможности всякого конкретного Письма существует Письмо как таковое. Оно понимается Деррида как сам принцип расчленения, т.е. как условие возможности любой лингвистической системы — записи, артикулированности и дискурсивности. Письмо объемлет любую графическую начертательность, не только буквенную. Скорее, речь идет о самой возможности изображения. Если бы слово нельзя было записать, его нельзя было бы и сказать. Эта возможность обеспечивается единственным механизмом — внутренней игрой различий, роковым посредничеством знака, при условии бесконечности замещения одного знака другим (в этом смысле сам знак оказывается невозможным, но лишь становлением знаком).

Таким образом, Письмо у Деррида выходит за пределы истолкования как материальной фиксации фонетических знаков в виде графических: «Если „Письмо“ означает запись и особенно долговременный процесс институирования знаков (а это и является единственным нередуцируемым ядром концепции Письма), то тогда Письмо в целом охватывает всю сферу применения лингвистических знаков. Сама идея институирования, отсюда и произвольность знака, немислимы вне и до горизонта Письма» (11).

Скорее оно будет тем, что позволяет фонемам различаться в пределах устной речи, а буквам в пределах письменной. Также оно будет тем, что отличает букву от звука, а написанное слово от слова произнесенного. В некотором смысле это сам принцип различения, который неизбежно предшествует и опосредует любое

начало. Это не язык, но то, что делает возможным язык и не просто какая-либо знаковая система, но процесс, в ходе которого некая система значения может возникнуть и функционировать. Оно «...может быть отнесено к тому, что на классическом языке можно назвать источником различий, процессом их производства, различиями между различиями, игрой различий» (12). Это такой принцип, который позволяет вообще создать некоторую систему смыслов, чтобы потом ими оперировать — будь-то аппарат философских категорий или любой другой язык описания мира. Любые техники знания устроены по законам архэ-Письма: сначала различение, потом все остальное. Никаких сущностей, как абсолютных терминов в системе значения не существует, значения сугубо дифференциальны и определяются не своим позитивным содержанием, а негативно через их отношение к другим значениям.

Означенное устроено таким образом, что ни одно значение не может представлять само за себя. Но поскольку нет пути к миру и «самим вещам» в обход знаков, по крайней мере, если речь идет о некоем нарративе, означении, т.е. знании о мире, то нет также и вещей, которые могут быть даны в чистом опыте самоприсутствия и самопредъявления. Благодаря движению означения встреча с означаемыми (вещами, фактами, смыслами) всегда откладывается и отсрочивается. То же верно и в отношении начальных понятий, встреча с которыми регулируется явлением изначального опоздания. С них невозможно начать, нельзя начать с того, с чего начинала любая претендующая на освоение пределов мысль. Начало неизбежно остается между, оно остается чистым, безымянным и беспредметным движением посреди того, что мы ошибочно принимаем за начальные значения. Архэ-Письмо таким образом никогда не присутствует (оно позволяет отличить «присутствие» от «отсутствия») и потому о нем затруднительно сказать, что оно есть (оно отличает «есть» от «не есть»), чтобы дать ему, наконец, стандартное определение. Невозможно дать имя и место тому, что само расчищает места и дает имена. Оно организует присутствие значений (по крайней мере, иллюзию их присутствия), но само по себе присутствовать не может. Нельзя обналичить механизм отсылки, нельзя зафиксировать его и предъявить — это было бы равносильно обращению его в тождество. Поскольку он всегда только различает и различается, то имеет смысл сказать, что он продолжается, но не имеет смысла говорить, что он существует.

При всей эзотеричности этого положения его оправданность все-таки можно понять — ведь объявить различие тождественным самом себе — значит высказать откровенное противоречие. Если различие удерживается лишь отличением от себя, не совпадая с собой и собой же не являясь, то становится более понятным, почему «не существует имени того, что постоянно распадается в цепи собственных субститутов» (13). Поэтому зачастую о различии (*differance*) у Деррида говорится в апофатической риторике: «...даже если *differance* есть (я подчеркиваю это перечеркнутое «есть») то, что делает возможным представление бытия-настоящим, никогда не обнаруживает самое себя *differance* не есть, не существует и не является ни одной из форм бытия-настоящим. Отваживаясь на проявление, *differance*, тем самым, обрекает себя на исчезновение» (14).

Архэ-Письмо у Деррида надо понимать как механизм образования любых смыслозначений, как то, что позволяет приобретать значения лишь в игре отношений с прочими. Оно дает о себе знать посредством поддержания движения взаимных отсылок и замещений, будучи, таким образом, ответственным за генезис смыслопорождений вообще.

В заключение скажем, что, несмотря на все сказанное об архэ-Письме, нельзя забывать о том, что ни о какой реставрации трансцендентного (несмотря на приставку «архэ») речи, разумеется, не идет. Пространство распределения значений *имманентно самому себе*, равно как механизм, его организующий, вовсе не управляет процессом извне, но с самого начала принадлежит ему на основаниях некоей структурирующей пустоты. Иначе говоря, архэ-Письмо должно быть описано исключительно в терминах имманентности. Оно располагается не по ту сторону означения, но, скорее, вовлечено в само его движение, встроено в референтную сеть и, следовательно, принадлежит внутреннему измерению знаков.

В работе «Differance», посвященной анализу этого концепта, сам Деррида скажет: «Подвергается вопрошанию как раз то, существует ли какое-либо начало, абсолютная точка отсчета, ответственность, вытекающая из некоего принципа. Проблема Письменности открывается вопрошанием понятия корня, основы. Именно поэтому анализ, который я намереваюсь осуществить, не будет разворачиваться, как обычный философский дискурс, исходящий из базиса принципов, постулатов, аксиом и дефиниций, и движущийся дискурсивным путем рационалистического образца. В интерпретации differance все представляет собой проблему стратегии и риска. Это — проблема именно стратегии, поскольку не существует трансцендентной истины, находящейся вне, за пределами сферы Письменности, которая оказалась бы способна некоторым теологическим образом управлять всей тотальностью этой сферы» (15).

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Платон. Федр. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 86.
- (2) Аристотель. Метафизика, Met. XII, 9, 1074b17-23. С. 33—35.
- (3) Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Пер. А.М. Сухотина. М., 1977. С. 62.
- (4) Там же. С. 63.
- (5) Деррида Ж. Письмо и различие. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 377.
- (6) Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 101.
- (7) Деррида Ж. Письмо и различие. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 17.
- (8) Там же. С. 237.
- (9) Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Пер. А.М. Сухотина. М., 1977. С. 70.
- (10) Деррида Ж. Письмо и различие. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 16.
- (11) Деррида Ж. О грамматологии. De la grammatologie. М.: Ad marginem, 2000. С. 66.
- (12) Деррида Ж. Differance. В кн. Гурко Е. Тексты деконструкции. Томск: Водолей, 1999. С. 125.
- (13) Деррида Ж. Differance. В кн. Гурко Е. Тексты деконструкции. Томск: Водолей, 1999. С. 128.
- (14) Там же. С. 128.
- (15) Там же. С. 129—130.

THE WRITING IN/OF PHILOSOPHY OF JACQUES DERRIDA

D. Gasparyan

Faculty of Philosophy
National Research University Higher School of Economics
Old Basmannaya str., 21/4c1, Moscow, Russia, 105066

The article is dedicated to the problem of writing in J. Derrida's philosophy. It describes his views of the origin of writing, and explains how these views have argued with F. Saussure's theory of writing.

Key words: linguistics, structural linguistics, writing, speaking, sign, arche-writing, grammatology, phoneme, grapheme, Derrida, Ferdinand de Saussure.